

КОНСТ. ФЕДИН

*Государственное
издательство
художественной
литературы*

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

Я БЫЛ АКТЕРОМ

СТАРИК

П о в е с т и

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ

Р о м а н

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Примечания
Б. БРАЙНИНОЙ

Я БЫЛ АКТЕРОМ

СТАРИК

Повести

Я БЫЛ АКТЕРОМ

*Николаю Коппелю, с которым
я прожил две жизни.*

1

Все мы думали одинаково: «Черт знает, когда же наступит конец распроклятой войне?!» Мы отсидели три года в городе, похожем на благоустроенную богадельню. Мы знали в лицо всех булочников и пасторов. Секретарь полиции раскланивался с нами, точно с кумовьями. Городские собаки давно перестали на нас лаять. Домашние хозяйки, со слезами сочувствия, штопали нам носки.

А война шла, шла.

Я ходил по вечерам к директору машиностроительного завода, человеку шестидесяти лет, застенчивому и женственному, со зловещей фамилией — Криг. Он учился у меня русскому языку. Не понимаю — зачем? Он знал шесть языков и учил седьмой. Мы читали «Обломова». Директору Кригу нравилось, как Обломов попадает ногами в туфли, не глядя на них. Он просил меня перечитывать место, где это описывается, слегка запрокидывая голову, улыбался и жмурился. Я уверен, что по утрам директор Криг пробовал попадать ногами в туфли по-обломовски. Может быть, это небольшое искусство было самой сокровенной мечтой человека, который руководил машиностроительным заводом и изучал седьмой язык. Мы склоняли в женском роде: туфля, туфли, туфле, туфлю... потом в мужском: туфель, туфля, туфлю, туфель... Директор Криг любовался многообразием русского языка и склонял

туфлю по-французски, по-итальянски, по-немецки. Меня потрясла его любознательность.

Днем я давал уроки мальчугану, в русской семье, застигнутой войною в Германии и осевшей там навсегда. Моему ученику было лет двенадцать. Я спрашивал его, сколько будет пятью восемь. Он оглядывался на окно. В розовых цветах стояли там деревья, груши цеплялись зигзаговидными своими ветками за косяки. Я любил деревья, любил небо, мне хотелось вон из комнаты, я спрашивал снова:

— Итак, пятью восемь?

— Двадцать восемь, — говорил ученик, быстро взглядывая на меня испуганными светлыми глазами.

Я смотрел на его лоб. Голубые жилки, точно ветки нежного деревца, вились у него по белым вискам, чуть вздрагивая. Бедная головка работала из всех сил. Это был способный мальчик.

Десять лет спустя я встретил его в том же городишке. Мы сели за чайный стол. Мой ученик стал крепким малым, в хорошо разглаженных штанах. Усики он подстригал. Словно две кисточки для акварельных красок, висели они у него под ноздрями. Он начал отвечать мне по-немецки. Я присрамил его. Он вспыхнул, как когда-то за уроком, и сказал, протянув руку к сахарнице:

— Перетафайте мне, пожалуйста, цукерница...

Десять лет спустя я не встретил директора Крига. Если он жив, он изучает девятый или десятый язык и, может быть, стал попадать ногами в туфли не хуже Обломова. Если умер — да будет ему земля пухом!

2

А война шла, шла.

От тоски мы перезнакомились с актерами городского театра. Актеры были с бору да с сосенки. Все здоровое население, не щадя живота, защищало немецкое отечество. Высокому искусству сцены доставался материал второсортный. Тут были старики, инвалиды, чудаки, страдавшие манией величия, в луч-

шем случае — молодые люди, настолько оборотливые, что их, без греха, можно было считать дезертирами. Зато в актрисах чувствовался даже некоторый избыток. Маленькие, как куклы, громадные, точно каменные бабы, они оживляли кафе и улицы.

Как позабыть блондинку Лисси, похожую на птичку, изящную, легкую, с очень милым, но, однако, чересчур длинным носом. Она пела действительно как птичка, не громче, и это обстоятельство и еще, пожалуй, длина носа ограничивали сферу ее деятельности небольшими театрами, ценящими искусство не по каким-нибудь внешним достоинствам.

Фрейлейн фон Сезмон отличалась, наоборот, мощным сопрано, огненной рыжизною, обширными формами. По своему амплу первой певицы ей непременно надо было кого-нибудь обвораживать, и, как теперь я понимаю, она всегда оставляла впечатление. Настоящая ее фамилия была неизвестна. Псевдоним свидетельствовал о некотором раздвоении ее личности. Французское имя обладало блеском, давно-давно, до войны, при вступлении актрисы на заманчивый путь. В то же время не легко было отказаться от импозантного немецкого «фон», раздаваемого сценой направо и налево, кому угодно, без пошлин и проволочек.

Война подмочила французские имена. Комик-буффа, например, до сараевского выстрела блистал именем Аяриона, то есть довольно оскорбительно для немецкого национального достоинства. В войну немцы, молниеносно разучившись читать и говорить по-французски, стали называть своего любимца Генрионом. Он должен был примириться с этим и играл Генрионом не хуже и не лучше прежнего — бойкий человек в паричке и с подкрашенными щечками, не дурак поворачиваться, мастер водить дружбу с фельдфебелями и унтер-офицерами призывного пункта, к которому был приписан театр.

Первым тенором в театре был баритон Брейг. Тут нет ни доли каламбура, просто — с тенорами обстояло из рук вон и приходилось дорожить малейшей способностью любого актерского голоса брать хоть какие-нибудь теноровые ноты. Прошное Брейга было красочно:

он пел в Венской оперетке — высшая апробация для певца и его пожизненная неугасимая гордость. Но он был уже стар и почти слеп. Голос его изредка начинал звенеть, и тогда в нем просыпался актер страстный и обаятельный. Но слишком часто такая вспышка кончалась срывом на каком-нибудь несчастном ля бемоль. Тогда, тут же на сцене, Брейг утрачивал шарм, мгновенно пугался, слепнул еще больше, вся старческасть его вдруг делалась мучительно очевидной. Мы любили его за природный артистизм, за грустную судьбу, за склонность философствовать, которую он с увлечением проявлял.

Труппа была большой, оперетта работала вперемежку с драмой. Актеры, нынче выступавшие в Гауптмане и Грильпарцере, завтра подтягивали в Легаре и Штраусе. Впрочем, такая универсальность в амплуа касалась преимущественно маленьких актеров и хористов, главные же исполнители соблюдали верность либо трагедии, либо вокализму.

Одним из наших друзей сделался музыкальный маэстро театра — капельмейстер Рихард Кваст. Он уже отведал войны. Его полк, выступивший в начале кампании, с боями промаршировал через Бельгию, ворвался глубоко во Францию и после разгрома немцев на Марне, наполовину перебитый, изорванный в клочья, возвратился домой. Кваст был дважды ранен, но не слишком серьезно, ровно настолько, чтобы каждые два-три месяца получать отсрочки нового призыва в ряды войск.

Он уже не говорил о войне иначе как о «дерьме».

— Пусть они жрут его без меня. Я сыт. У меня оно лезет горлом наружу.

Мы елейно вздыхали:

— Но ведь немцы — они совсем не хотели воевать...

Он краснел. Сдавлив зубы, он корчил гримасу ехидства и шипел:

— Ну, так... я про то и говорю, что я, немец, не хочу воевать...

По натуре он был весел и, как Казанова, любил женщин. Целые выводки девиц окружали его, когда

он, после репетиции, выходил из театра и шурился на солнышке, рассказывая не очень скромные анекдоты. Девицы были готовы с ним на многое. Он хорошо знал это и был счастлив.

3

Когда нас сюда сослали, на первой же явке в полиции мы встретились с господином художником Шером. Господин художник Шер опоздал на пять минут, и секретарь полиции, отчитав его, предупредил, что впредь за опоздание нас — подданных вражеского государства, находящегося с Германией в состоянии войны, — будут сажать в концентрационный лагерь.

Шер первым из нас нашел работу: он поступил во фруктовый магазин испанского купца. Он зашел в магазин просто мимоходом, постоял, подумал и сказал на плохом французском:

— Я хотел бы у вас что-нибудь делать...

— Ваше желание не совпадает с моим, — ответил испанец.

Шер не импонировал торговцу: слишком мал ростом, долгонос, не представительен, иноземного вида, захудало одет. Испанец одной своей упитанностью внушал покупателю доверие.

— Что вы умеете делать? — спросил он.

Шер посмотрел на стены и карнизы потолка.

— Я распишу вам это... фруктами...

— Рядом с живыми фруктами мазня будет производить отталкивающее впечатление. Да и откуда я знаю, что вы умеете писать?

— Я работал копиистом в дрезденском Цвингере.

— Нет. Покупатель на это не пойдет.

— Я напишу вам плафон кругом, во весь магазин, — сказал Шер, таинственно приближаясь к испанцу, — я напишу плафон на такой мотив, что ваша лавка лопнет от покупателей. Весь город попрет к вам за апельсинами.

— Э! Что же это за мотив?

— Бой быков!

Испанец оглядел карнизы.

— Какой ширины?

— Метр.

— Кругом всей лавки?

— Да.

— И над дверью?

— И над дверью.

— Черт с вами, валяйте... но чтобы без всяких штук. Без футуризма! Эти ваши фокусы не для торговли!

Шер прижился у испанца, несмотря на то, что тот быстро добавил к его художественным обязанностям продажу яблок на базаре по воскресеньям и, немного погодя, мытье посуды из-под лимонада.

— Быки уже подходят к концу, — рассудил испанец, задрав голову и изучая подыхающих на окровавленной арене лошадей, — но когда все это окупится — неизвестно. Я не могу тебя даром кормить, хоть ты и был допущен копировать в Цвингере.

— Смотрите на матадора, — показал Шер, — я сам удивляюсь этой экспрессии. Настоящий андалузец.

— Верно, — ответил купец, — я одного такого знал. Но посчитай: обед, ужин, утром ты хочешь кофе. Словом, положи, мой друг, бутылки...

С легкой руки Шера мы постепенно стали находить работу.

Один из нас нанялся скрипачом, другой монтером на электростанцию, кое-кто поступил на завод. Химик, похожий на персонажа Дюма — с пышными усами и клиновидной бородой, с гарцующей походкой, в галифе и тугих обмотках на икрах, — сделался помощником городского лаборанта и производил анализы пищевых суррогатов. Его шеф — мрачный резонер — относился к нему сурово и не одобрял пессимистичных анализов.

— Ну, да, да, герр коллега, — гнусавил он, — конечно, из этих порошков курица не высидит цыплят. И вряд ли они пахнут яйцами. Но ведь на них не написано, что это — яйца. На них написано, что эти порошки могут быть с блестящим успехом положены в

кушанья, для которых требуются яйца, в случае недостатка, а также отсутствия последних. Анализ несколько не исключает такое утверждение. А вы даете неблагоприятный отзыв. Ведь вы в годину нужды лишаете население доброкачественной пищи. Хорошо, что я вас знаю. А посторонний мог бы подумать, что вы, как русский, бракуете продукты питания из вражеских побуждений...

Химик закусывал от страха усы и, уже видя себя приговоренным за саботаж к смертной казни, переделывал заключение о яичном суррогате в самом доброжелательном духе.

На разные лады все мы признавали химические порошки аппетитной яичницей. Война с ее нуждою, эпидемиями и всяческой мизерой шла год за годом, а нам хотелось жизни свободной и счастливой.

Однажды вечером, шествуя по городской променаде, под шатром осенних звезд, озираясь на рассыпчатые хвосты метеоров, я разговаривал с химиком о мире — об этой вечной, как небо, мечте. Вышло — едва ли мы дождемся мира, потому что голод усиливался, обыватель скупел, нам все меньше перепадало от его терпимости, мы становились всем в обузу. Перебирая, кто чем занимался в поисках пропитания, мы смеялись над господином художником Шером. После своего испанца он долго писал копии с Гальсы и Рубенса без оригиналов, по памяти, пользуясь красочными воспроизведениями известных картин. Потом он бросил это неблагодарное искусство и пошел статистом в Зеленый театр, расположенный в лесу, на чешской границе. В «Царе Эдипе» и в патристическом военном спектакле он «играл толпу», как выражаются актеры, то есть размахивал руками и, когда надо, без конца бубнил за кулисами одно слово: «рабарабер, рабарабер», изображая ропот масс.

— Ему скоро поручат серьезную роль, — сказал я.

— Чепуха, — возразил химик, — Шер не может правильно выговорить ни одного звука.

— Я знаю наверно. В «Потонувшем колоколе» он будет сидеть в колодце и квакать: «Брекекекекс».

— Н-да, вот вы смеетесь, — сказал химик, — а у вас поди не хватило бы духу выступить на немецкой сцене.

— Подумаешь, страсти!

— Небось вы не пошли бы служить на сцену.

— Сколько угодно.

— На словах.

— Не только на словах.

— Ой ли?

Я остановился, поглядел на серебряный след упавшей звезды, смерил химика с головы до ног. Он дрыгал коленочкой и медленно прокручивал мушкетерские усы.

— Давайте спорить, что я завтра наймусь в городской театр, — сказал я.

— Кем?

— Не все ли равно?

— На сцену?

— На сцену.

— Но ведь там оперетка.

— А так что же? Пари на полдюжину шампанского!

— Ну, уж на полдюжину, — попятился химик.

«Ага, — подумал я, — скупая бестия! Я тебе покажу!»

— Ну, на сколько хотите? — быстро спросил я, протягивая руку.

— Что вы поступите на городскую сцену?

— Да, — сказал я гордо.

— Ладно, — пробормотал он упавшим голосом. — Почем шампанское?

— А кто его знает.

— Ну, тогда — на бутылку.

— Чего захотели! Чтобы за жалкую бутылку игристого люди становились европейскими актерами!

— Хорошо. На пару.

— Наплевать. Идет!

Я с торжеством задержал его руку в своей. Она оказалась мне необычайно холодной. Я видел, как он нервно схватился за бородку. Всю жизнь я не понимал скупцов!..

На другой день меня принял директор театра.

Полнотелый, большой, в мельхиоровой седине, с золотой цепью на пикейном жилете — это был настоящий директор. Он узнал меня, потому что я должен был давно примелькаться ему, но он ждал, пока я пущусь в биографическую исповедь. Ему не было дела до моих симпатий в этой тяжелой войне, — как он заявил, — но само собою подразумевалось, что он, наравне со всеми немцами, рассчитывает на мою лояльность.

— Умеете ли вы петь? — легко перешел он к делу, минуя все обязательные разговоры о безвинности кайзера Вильгельма и о британском коварстве.

— Я знаю ноты, — ответил я.

— А голос?

— Я пел в хоре.

— Где?

— В школе.

— Что же у вас было — дискант или... что-нибудь еще?

— Бас, — сказал я, напрягая горло и сразу поперхнувшись.

— Приходите завтра на репетицию. Вас попробует капельмейстер.

Я откланялся, но он не дал мне уйти.

— Сколько вы хотите получить?

Я сказал, что мне надо существовать. Он назвал жалованье хориста. У меня екнуло сердце, но я только откашлялся погулче, как певцы, и политично выждал напутственных слов:

— Если вы годитесь, мы сойдемся.

На улице мне встретилась Лисси. Вечно веселая, она стукнула меня в плечо.

— Ну, ты, послушай меня разок, мой милый. Он ангажировал тебя, наш старик, или нет?

Я был потрясен неожиданным «ты», оно свалилось на меня с неба.

— Откуда вы знаете?

— Однако ты, обезьяна, не притворяйся! Я узнала от химика о вашем идиотском пари и сегодня утром сказала директору, что ты придешь и что тебя надо принять, у тебя — райский тенор.

Я схватился за голову. Она хохотала, как в своих ролях субретки, — широко скаля чистые зубы. Она уже считала меня своим, ласково нарекая панибратскими, глупыми прозвищами, которые были в ходу за кулисами.

— Милок, — сказала она под конец, — поверь, на сцене шагу нельзя ступить без протекции, и я решила тебе помочь. Когда ты обварганишь свое дело со стариком — приходи ко мне, я научу тебя гримироваться.

Она покровительственно распрощалась, а я побегал домой, не понимая, какие силы влекли меня над обновленными улицами.

Весь вечер я откашливался, пробовал голос, напевая черт знает что. Вкрадчиво во мне возникло чувство, что я прирожденный певец. Потом, осипнув, я страшно испугался за свое будущее. Квартирохозяйка изредка заглядывала в мою комнату под разными невинными предлогами. Наконец она не удержалась и, стоя в дверях, с необыкновенной деликатностью посоветовала:

— Может быть, вы приляжете? А я бы согрела вам немножко настоящего кофе...

Я понял, что она боялась за целостность своей обстановки и, может быть, даже за свою жизнь. Но я не мог остановиться, я пел.

К вечеру у меня пропал голос. Я метался всю ночь и поутру, еще в постели, с боязнью взял невысокую ноту. Все стало ясно: у меня был, как угодно, порядочный бас. В голосе перекатывалась рокошущая хрипота, и, чем ниже я брал ноты, тем лучше шли мои дела.

Я полетел в театр.

В этот сезон великолепный Рихард Кваст, сманенный театром побогаче, покинул нашу оперетку. Музыканты, солисты и прежде всех сам директор чувствовали себя осиротелыми. За пультом сидел коротенький неуклюжий человечек по имени Зейферт. Он имел только один порок: ему, как дирижеру, не хватало